

Вот какой вопрос в наготе и простоте явился мне: почему именно тогда мне пришло на ум рассказывать все эту вздорную историю, не обещавшую ничего, кроме снятия и усталости, той

неодолимой усталости, что приспосабливает человека после любого бесполезного дела. Почему я предпринял попытку, заранее обреченную на неудачу? Я не собирался писать историю чьей-то жизни.

После слова "неудача" меня, бесспорно, и выслушивать никто не захочет. Мало ли таких попыток! Мало ли историй поведало нам, в которых разобраться стоит немалого труда, а когда разберешься что к чему, плюнешь с досады — до чего ничтожно все. Не откровения ли ждем от рассказчика? Не просветления ли ожидаем, когда изматывает он нас прихотливым нагромождением вымысла и привычного? Не учениками ли покорно восседаем перед тем, кто повествует?

Учеником у самого себя сидеть тридцать, сто лет. Можно больше, можно меньше.

Учитель, ответь мне — у этих ли окон я был? Так ли они были раскрыты? И стоял ли тогда (скажем для ясности, что т о г д а означает два года назад) грабевый стакан на подоконнике, наклоненный слегка набок, — считывавший неровности подоконника — и в нем пузырьки налипли по граням внутри и вода чуть скошена, так как стакан отсит на бугристом от бесчисленных слоев краски подоконнике — полупрозрачный, сумрачный, темнее воздуха. Стекло раньше чувствует наступление ночи.

Был ли я тогда, три-четыре года тому назад, влюблен? О, мой друг, был ли ты влюблен? Не молчи. Отвечай, говорю тебе. Что ты молчишь! Да нет, не так — дайте же ему стакан вина, а то он слова не вымолвит!

Не помню. Но, судя по многому, случилось тогда нечто из ряда вон выходящее. Кто жила, не помню. Так налейте ему стакан вина, если он не помнит, увенчайте венком, ибо давно

время праздника, праздника оскорофиев. Все же я был влюблен... Вероятно, потому впервые я и ощутил способность сопоставлять одно с другим. Однако при чем здесь любовь? Непонятно...

Это всегда приходит неожиданно. До этого — кто-то, с кем-то, когда-то, где-то: несопоставимые, несоразмерные видения, тени, к которым привык, и сумрак зернистый, застилающий бесконечное число начал, продолжений, и опять начал, враждующих между собой сокровенной враждой — до этого — с кем-то, когда-то, в жесточайшей симметрии чужого. И вдруг все связано между собой, находится в равновесии, точно пласт дерева срезан и перевернут. Нескончаемое плетенье. Да?

Нет. И не будем обращаться к памяти. Уверился я в ложности самых достоверных воспоминаний. Что вчера было — того сегодня нет. Было ли оно вчера?

Кажется, в ту пору, когда писалась эта история (которую теперь мне бы хотелось подсунуть кому-нибудь и поглядеть, что из этого выйдет), у меня накопилось довольно много разных клочков бумаги, листков из записной книжки со всевозможными замечаниями, имевшими единственную цель, — вывести мельчайший факт, не/взирая на его ценность, в настоящее, лишить его прошлого, угасания: так угасает медная монета, брошенная в воду. Красноватый, в жестких и скользких узлах тростник сжигаем белоснежным пламенем, и пепел светится в затонах, по серебру небытия скользит. Было оно вчера или сейчас оно длится? Точно по ступеням, по изломам света, в пластах прозрачайших влаги ускользает она в темень, выпущенная из ладони в самую прозрачную темень, какую можно себе вообразить. Я говорю о замечаниях на клочках бумаги, потому что они показались

мне тем дерновым пластом, когда связанность впервые потрясает однообразием, монотонностью — ее мощь в миг совлекает с души покровы подобию. Почему не упоминаешь о Немом? Ему ведь одному, не тебе, принадлежат замечания!

Говори разве о памяти? Ну нет, конечно, нет! О равновесии. Тогда, вспоминая, претила мне взволнованность даже в проявлении бесстрастия. Хотя... скорее всего, лень, она одна.

И окно то же. И дождь накрапывает, может быть, как тогда, до моего возвращения. Не угадать разницу между дождями. Но почему же говорю — что было вчера, того сегодня нет? Какое это имеет значение!

И стакан на подоконнике тот же, наполненный омертвевшей позавчерашней прошлогодней водой, скошенный в сторону; и, главное, тогда я, очевидно, думал и о стакане, и о дожде, и об окне думал, и об остальном. Думал и смотрел точно так же: окно, думал я, неизменно; дождь — сама вечность, если не обращать внимания на строгие стены скоротечных осенних пейзажей, лица, мелькающие в его нитях; если не думать о предстоящем вечере, слепом вечере-поводыре, если не думать о временах года, которые никак не хотят следовать друг за другом в положенном им порядке, но сопрягаются самым немалым способом — осень идет за осенью (что несет она нам?), за которой начинается еще одна, и потом вдруг и надолго, навсегда вспыхивает лето, навсегда и надолго, обрывающееся иногда не то снегом, не то сном, проносащим у изголовья смех, не то пеплом вещей... плазми беззвучно рассыпаются от бледного огня, и рыбы кричат черным криком, маясь в иссыхающих корнях облаков, бросаются на берег, а над головой облачко раскаленного жара, подобно бесцветной

ртутти, тинно рвется к лазури.

Неизблем мир в отражениях и вещах — вот она, симметрия
она — неодолимо постоянство зрения, прилепившегося беспомощно, —
как часто слабеет оно — к трем, пяти, десяти цветным пятнам, —
еще до рождения в сияющем слепом тумане мерцали они, — к двум,
трех отголоскам, — иди, ступай, иди, иди же! — сочетания их
потом тесно слухом уловить хочешь во вселенной слов, где каж-
дое дразнит, утигивает, — и не вздумай подходить к берегу,
слышишь? — влечет, манит, чтобы вдруг воззриться на тебя пус-
тым провалом. И вот вечер, говорю я, скатерть в коричневую
клетку, рассыпанные страницы покорной бумаги — да сохранил те-
бя невздеяния сила отгадываться — испекренние отчаянными попыт-
ками избыть гордость речения, отмеченные не то любовью, не то
скукой. И есть ли дело нам до прошлого и будущего! В сторону,
в сторону...

Но я говорил не так. Подозреваю, слова следовали в ином
порядке, и мир беспреклословно следовал словам, а не молчанию,
следовал, опаздывая на тончайшую долю мгновения, — как я люб-
лю это слово! Я вытатуировал его на запястье Сони, моей дале-
кой сестры, о которой, может, расскажу, если сочту нужным. И
на своем запястье я вытатуировал слово: мгновение. Обознача-
лось оно

Этим словом, можно сказать, определена вся моя жизнь.
Жизнь многих определена этим словом. Иной раз произносят: "веч-
ность", но, разумеется, имеют в виду все то же мгновение. Ка-
кова его продолжительность? Как оно выглядит? Ответов ли

оно? Или справедливой уподобить его чуме?

Всё лежит в области предположений, думал я, подыскивая для этой истории подходящий, убедительный во всех отношениях конец, когда добродетель торжествует, а зло, тайное и явное, предаётся суду, когда, когда и когда. В области предположений, размышлял я, заканчивая историю, отдалявшую от меня воплощённые признаки этих предположений там; и впрямь, как фотография под бугристым льдом, — облик человека, напряжённо глядящего нам в переносицу. Глаза выцвели, фотография выцвела, отцвели сады, птицы выцвели. Тут я хочу остановиться, так как именно тут начинается сама история, к которой и я имел отношение некоторым образом — все мы родились в Аркадии.

Человек смотрит нам в переносицу. Не смотри, человек, в переносицу.

Всплывает неведомо из какой рухляди слово "полковник", влечет за собой ряд зыбких изображений, каждое из которых совершенно в своем величии. Будто в музее находишься, где в невротической сумятице нет-нет и возникнет известенно-знакомый облик вещи, человека, входя в тело стальной иглой.

У меня иногда по утрам болит сердце. Я много курю. Заметьте, что с каждым годом курю больше. Курю трубку, а табака не найти. Я выдумал свой сорт табака. Но тем не менее его при случае можно приобрести в каждом табачном киоске. Подойдешь, поговоришь, облокотясь: то да се, как там дела, значит, что происходит нынче в мире, а потом скажешь тихо... народ его-ворчливый, понятливый на редкость. Встречаются, правда, такие, что у нихка крутят пальцем — да так ведь и не бывает, чтобы все тебя понимали без исключения. Игла невидима. Она прекрасна. Остывает, будучи совсем ледяной, становится совсем холод-